

1

На то, чтобы убивать людей, я никогда особенно не годился. При любых обстоятельствах я остаюсь законченным добряком. Даже в самых худших снах мне не случалось размахивать кухонным ножом или скальпелем. Я лишен таланта ненавидеть. Когда я вижу, как убийственные огоньки занимают в пьяных глазах моих случайных приятелей, меня тотчас словно ветром сдувает к другим компаниям, а затем я и вовсе исчезаю, не взяв полагавшейся мне сдачи.

Скрытую причину этого неискоренимого мягкосердия, конечно же, следует искать в моем прошлом. Я вновь вижу себя ребенком, стоящим у залитого кровью стола. Мой дед, только что ударом топорика вскрывший трепещущую трахею огромной индейки, назидательно изрекает:

— Такова жизнь, малыш. Такова жизнь...

Наверное, к жизни я так и не привык. Во все следовавшие за этими убийствами ночи

меня, обезглавленного, вихрем кружило по комнате, и я просыпался мокрым от пота.

В этом исток моей слабости, я всегда испытывал сострадание ко всему, что дышит. Когда сапоги рыбаков давят рыбу, мне не хватает воздуха. От вида крови я едва не теряю сознание. Благодаря школе или жизненному опыту, я приучился спасаться бегством даже от самых обыденных жестокостей, от всех этих резких слов и колких фразочек, с помощью которых человеческие существа убивают друг друга. На заре моей жизни я был чувствительной душой, то есть полным ничтожеством. Не обремененный богатым наследством, я попытал счастья в обычной лотерее — последовательно пополняя ряды пехотинцев коммерции, агентов по страхованию жизни и прочих носильщиков чемоданчиков. Но разглагольствование о выгодах смерти никогда не было моей сильной стороной: я с перехваченным горлом заученно перечислял преимущества предлагаемого договора, а затем без боя сдавался перед аргументами моих собеседников и покидал их жилища, испытывая нечто вроде тревожного облегчения. Где-то на самом дне всего этого таилась одна странность: почему говорят о страховании жизни, когда речь идет о прямо противоположном, почему мой дед сопровождал бойню словами: «Такова жизнь, ма-

льш, такова жизнь...». Вот главная загадка, которую мне так и не удается разрешить.

Устав от этой чехарды, я в конце концов вернул то, что они там называют пакетом, и мой хозяин, давая мне расчет, проворчал:

— Эта работенка не для вас, старина. Со-
крушителем дверей вы не станете никогда.

Говоря это, он даже не подозревал, насколько он близок к истине. Я никогда не понимал, зачем крушить двери, чьи петли кто-то с такой заботой смазывал. Дверь его офиса я закрыл за собой бесшумно. Впрочем, она была обитой.

После неудавшегося похода в коммерцию я ответил на несколько объявлений. Некоторое время меня можно было видеть облаченным в униформу гарсона, потом я был смотрителем в музее, затем гостиничным портье с двумя звездочками на фуражке. Эти должности не были лишены некоторого блеска, я каждый день гладил форменные брюки и не слишком пачкал руки. Замечая себя в барочных зеркалах, украшавших коридоры этих заведений, я находил, что не так уж дурен. Да, деталь интерьера, но зато интерьера высшего класса.

На подобных местах я держался не дольше одного сезона. Скука подкрадывалась незаметно, словно холод в ноябре, так что я не успевал остерегаться. И всегда наступало утро,

когда я забывал встать с постели. Таким образом, все мои начинания заканчивались одинаково: опозданием, неявкой или какой-нибудь оплошностью. Дело было не только в том, что я срывался, просто жизнь продолжала невозмутимо идти вперед, несмотря на мои настоятельные просьбы о тайм-ауте. Жизнь в этом мире не знает передышек, денег начинает не хватать сразу как только перестаешь приносить ей жертвы. Я стал отвечать на объявления все более мелкие, краткие, жалкие. Однажды я вырезал вот это, размером с ноготь большого пальца:

*Специализированное агентство
ищет личного секретаря.*

Требуется деликатность.

Высокое жалованье.

Писать в редакцию газеты, № 23456.

По привычке я ответил на хорошей писчей бумаге, а чтобы отправиться на собеседование, достал полосатый костюм для торжественных случаев, слегка тесный мне галстук-бабочку и платок в горошек, нужный для того, чтобы скрыть подкладку кармана, большую охотницу подышать свежим воздухом.

Адрес был Суомп-стрит, седьмой этаж здания в стиле ретро, с двумя горгульями в виде ржущих лошадиных морд над входом. Чело-

века, который меня пристально рассматривал, звали Анатолий Стуковский. Он был чудовищно тучен, из его круглого рта торчала огромная сигара. Слушая меня, он выпускал кольца дыма, длинные задумчивые кольца, которые деформировались, как рыхлые пузыри, а затем уползали умирать под перевернутые чашечки люстры. Несмотря на внешнюю грубость, мужчина приветливо тарачил на меня свои ироничные глаза, видимо, угадывая во мне ту самую деликатность, которую, как он уверял, он ищет уже очень давно.

— Человек, которого душит галстук-бабочка, не может быть законченным негодяем, — заключил он без тени улыбки.

Затем, прочистив горло:

— Вы приступаете в понедельник.

Круг моих обязанностей был весьма расплывчатым. Регулярно просиживать штаны в узкой комнатухе, именуемой бюро, время от времени перепечатать на машинке письмо, записать телефонное сообщение, сходить за газетой, принести сигар. В промежутках между этими изнурительными делами взять на заметку цвет неба в овале слухового оконца. Наконец, накормить через это же отверстие дворовую кошку по имени Глэдис, приходившую в строго определенный час, чтобы покрасоваться своим львиным

одеянием и таким образом выпросить дневное пропитание. Слева от слухового окна струила зеленый свет застекленная дверь кабинета моего патрона. Оттуда слышался его густой, с мягкими интонациями голос. Клиенты и клиентки говорили всегда очень тихо. Их тени сквозь стружечные завитки полупрозрачного стекла казались нарисованными сумасшедшим экспрессионистом.

Какими секретами делились в этом алькове, догадаться было не так уж трудно. Речь шла о сборе информации, об украденных ежедневниках, о мучавших подозрениях: раньше мой муж никогда не пользовался парфюмерией, господин Стуковский, никогда в жизни... И вот он шарит глазами по стеллажам женского белья... И не говорите мне, что собрания церковного совета затягиваются до пяти часов утра... «Ну конечно нет», — соглашался толстый детектив. И выпускал вереницу дымовых колечек, мурлыча, как добрый папочка, которому все это слишком знакомо.

Кроме клиентов время от времени появлялись несколько «специалистов», приходивших с отчетами о слежке и отснятым фотоматериалом. В частности некий Джек Смел, обладатель наждачного голоса, и здоровенный жердина по имени Зено, оба типа мрачные и тощие, насколько можно было судить, мель-

ком увидев их в приоткрытую дверь или на лестничной площадке этажа.

Что во всем этом, действительно, было загадкой, так это мое там присутствие. Даже при том что оно требовалось только утром, с девяти до часу, у меня не было почти никакой работы, чтобы его оправдать. Письма, которые я должен был печатать, были редки, коротки, в чисто административном стиле: «Будьте добры незамедлительно уплатить сумму в... Можете быть уверены, мы не оставим без внимания ни одного аспекта данной проблемы...».

Иногда мне случалось засовывать листы какого-нибудь досье между зубами странной прожорливой машины, начинавшей заглатывать их с сильной вибрацией. Аппарат, именованный, как гласили жирные буквы на латунной табличке, «КОМПИЛАТОР», был предназначен для того, чтобы превращать бумагу в кашу нечитаемых конфетти. С не знающим границ аппетитом он переваривал даже фотографии, включая портреты, что производило на меня особенно тягостное впечатление.

Ближе к полудню Стуковский открывал застекленную дверь и впускал дым своего прокуренного кабинета в мою комнатушку. Тогда мы вяло беседовали, не видя друг друга. Он часто делился со мной впечатлениями о том, что съел накануне, адресом ресторана

и превратностями пищеварения. Иногда ему доставляло удовольствие приводить меня в замешательство вопросами интимного характера:

— Положа руку на сердце, Грюнд, скольких женщин вы сумели ублажить?

Я лихорадочно придумывал ответ настолько обтекаемый, чтобы босс меня больше не донимал:

— Они слишком кружат мне голову, господин Стуковский. Я забываю о счете.

Он что-то урчал в своем дыму, затем вновь мягко атаковал:

— Интересно, какой могла бы быть любимая фантазия у такого мужчины, как вы, Грюнд?

— Один на носу корабля, господин Стуковский.

Это был стих Рильке.

— Я сказал: фантазия, Грюнд. Сексуальная фантазия.

— Если бы я открыл ее вам, она потеряла бы силу, господин Стуковский. А я иногда в ней нуждаюсь.

Толстый человек тихо ухмылялся. «Вы за словом в карман не лезете», — уступал он. Шорох комкаемой бумаги возвещал окончание допроса. Производимые челюстями звуки выдавали, что он приступил к своему первому сэндвичу с рубленным говяжьим мясом.

Он перемежал поглощение пищи затяжными глотками «Сент-Амура», присасываясь прямо к горлышку, как будто это было дешевое красное вино. К часу дня я заглядывал к нему, чтобы попрощаться. Обычно я заставал его расплывшимся в кресле. Он храпел, широко раздвинув ноги и открыв рот. На салфетке лежали шарики хлебного мякиша.

Обои над его головой обрамляли ковром лепестков карту США с девизом и усыпанным звездами флагом. На камине два ангела пресс-папье удерживали стопку книг и играли на рожках, а в углу комнаты подскакивала, когда по улице проезжали автобусы, маленькая рамка:

*ДЕЛИКАТНОСТЬ — наша ПРОФЕССИЯ.
Досье по окончании расследования уничтожаются.*

Несмотря на отвращение к его особе, я не оказывал серьезного сопротивления некоторой близости, которую он старался между нами установить. Стуковский был мне благодарен за скромность, с которой я держался, и за ту видимость почтительности, которую я считал нужным ему демонстрировать. Он любил меня немного подразнить:

— Глядите-ка, Грюнд, у вашей бабочки сегодня утомленные крылья. Вы что, кутили всю ночь?

— Нет, я спал, господин Стуковский.

Иногда он, наоборот, выказывал ко мне повышенное внимание:

— Положа руку на сердце, Грюнд, что такой человек, как вы, думает по поводу автомобильного кризиса?

— Думаю, что он хронический, господин Стуковский.

— А перспективы?

— Неутешительные.

— Что ж, вам виднее...

Другими животрепещущими темами дня были: общество, свобода, демократия... Я подавал скромные реплики:

— Громкие слова, господин Стуковский. Стоит их произнести, они лопаются, как мыльные пузыри.

— Неплохо сказано... — признавался он после долгого задумчивого молчания.

Не знаю, благодаря ли этим оценкам или чему-то другому, но понемногу я начал подниматься в чине. Из простого секретаря я стал личным секретарем, от мелкого служащего я дорос до должности поверенного в делах, перед посторонними он называл меня даже «дорогим советником»:

— Я вам еще не представил моего дорогого советника, Смелл... Ну же, Грюнд, пожмите руку самому блестящему из наших детективов...

И пока мрачный тип по имени Джек Смелл, специалист по грязным делам, едва отрывал зад от стула, чтобы со мной поздороваться, хозяин внимательно наблюдал насмешливыми глазами за нашим вялым рукопожатием.

Со временем Стуковский стал даже ласков со мной, чуть ли не ласковее, чем с малышкой Глэдис, ежедневно приходившей выпрашивать еду в одиннадцать часов. Я стал фаворитом среди его обслуги. Он щедро платил мне, неожиданно проявлял сочувствие по поводу затрапезного вида моих ботинок или потерявшего форму пальто.

— Я перечислил вам больше вашего обычного месячного жалованья, Грюнд. Не обижайтесь, но такой человек, как вы, должен выглядеть соответственно своему положению...

«Такой человек, как вы...», «соответственно своему положению...» — этот род лестных замечаний в конце концов делал свое дело, и я, конечно же, не видел здесь ничего дурного, ничто меня не настораживало.

Расплата не заставила себя долго ждать. Чтобы, как он выразился, внести разнообразие в мою работу, а также потому что я заслужил его доверие, Стуковский вскоре нагрузил меня мелкими услугами, безобидными с виду поручениями,

несложными и таинственными заданиями, для которых моя деликатность оказывалась как нельзя кстати.

— Деликатность, видите, куда я клоню, Грюнд...

Нет, я ничего не видел кроме глаз хозяйина, чуть-чуть излишне настойчивых, чуть-чуть гипнотизирующих, и лозунга «ДЕЛИКАТНОСТЬ...», подскакивавшего в углу комнаты.

Работа состояла в том, чтобы доехать на трамвае до Чарлз-стрит, пройти по аллее под вязами и ждать перед парком аттракционов. Человек в темно-коричневом кожаном пальто и шляпе того же цвета должен был подойти и сесть рядом со мной. Он широко развернет свою газету, но спустя несколько минут на той же скамейке забудет другую. Моя миссия заключалась в том, чтобы привезти другую газету. Разумеется, не открывая ее.

— Детское задание, не правда ли, Грюнд?

— Вам виднее, господин Стуковский.

Все произошло как и предполагалось. Над безлюдным парком аттракционов дул северный ветер, мужчина в темно-коричневой шляпе выглядел таким же мрачным, как и Джек Смелл, первую полосу газеты украшал крупный заголовок: «Таинственное трио»...

На обратном пути, в автобусе, я испытал странное чувство, что отныне принадлежу к тесному миру тех неприметных темных личностей, которые без видимой цели снуют с самым невинным видом по всем артериям города. Стуковский принял трофей-газету без малейших комментариев. Он стал давать мне другие мелкие поручения, у меня же не хватало мужества от них отказаться, они всегда выглядели детскими.

Отнести чемодан в камеру хранения, пометить время смены служащего, вернуться кратчайшим путем.

Позвонить из автомата по номеру 275476 и дождаться третьего гудка, повторять операцию каждые четверть часа, до тех пор пока не снимут трубку. Спросить, не Силверштейн ли у телефона. Это будет не Силверштейн. Повесить трубку.

Взять букет красных пионов и позвонить в дом 33 на Хьюм-стрит.

— Будьте начеку, Грюнд. Дама, что вам откроет, весьма предприимчивая молодая особа. Не задерживайтесь с ней. Не нужно, чтобы она вас запомнила.

— Это поручение кажется мне немного... специфическим, господин Стуковский.

— Совершенно детское. Вы — из службы доставки цветов.

— А почему красные пионы?

— Не задавайте глупых вопросов.

Женщина из дома 33 по Хьюм-стрит пришла в восторг от цветов и хотела получить больше информации о происхождении букета. Ее красивые глаза были миндалевидной формы, на щеках от возбуждения играл легкий румянец, и отпускать ей меня явно не хотелось.

— Я предпочел бы снова вернуться к своим прямым обязанностям секретаря, — объявил я Стуковскому.

Он, не ответив, затянулся сигарой. В тот же вечер он пригласил меня в ресторан.

Тет-а-тет в чилийской закусочной «Бак Ривер». Этот человек был просто монстром прожорливости. Он заказал мяса, мяса и снова мяса: запеченной ветчины, паштетов и прочих колбасных изделий, сдобрив все это тяжелым вином и приправив столь же напыщенными, сколь и расплывчатыми заявлениями об огромном значении нашего сотрудничества. Вино вскоре помогло ему отпустить две дырочки на ремне и сделать громогласное признание: только негритянки умеют заниматься любовью, Грюнд, хотите верьте, хотите нет... Нужно набивать брюхо, пока еще есть время... Шевелись или подохнешь, ешь или будешь съеден... Посмотрите хорошенько на этот бокал, Грюнд, прибавьте к нему женскую киску и вы получите экстатический концентрат всей сущности

мира. Здесь в изложении его речи лучше остановиться. При свете дымчатой лампы мой босс плотноядно развесил толстые красные губы. Когда он стал равнодушно рассказывать мне о борделях Сайгона и горах трупов в Да-Нанге, он заметил, что я очень бледен. Расставаясь с ним в тот вечер, я понял, что не создан служить визави этой породе похотливых хищников. Впрочем, это было известно мне с самого начала, но я неисправим, я вечно сажусь на корабль, отправляющийся вверх по такой-то реке, хотя мне нужна другая река и идти по ней следует вдоль берега. Название маршрута почти такое же, и никто не обратил мое внимание на крошечную разницу. По застенчивости, из опасения побеспокоить, я продолжаю двигаться по стезе, для меня не созданной. Мне понадобилось смрадное дыхание Стуковского в чилийской закуской «Бак Ривер», чтобы решиться сойти на пристани. Но однажды приняв это решение, я все откладывал момент его объявления.

Словно догадавшись о моих намерениях, толстый человек начал выказывать еще больше нежности, он отваживался даже называть меня по имени, робко привешивая его к концу фразы. И не предлагал мне больше особых поручений. Моя жизнь личного секретаря вновь вошла в тихое русло: печатание писем, кормление кошки, «Компилятор», наконец, в

приоткрытую дверь посиневшее от дыма нудное рассуждение о мире.

Однажды во время обеда самым будничным тоном его звучный голос вкрадчиво раскинул сеть:

— Положа руку на сердце, Грюнд, вы уже кого-нибудь убивали?

— Простите?

— Убивали?

— Не уверен, что правильно понял ваш вопрос, господин Стуковский...

— Вы когда-нибудь убивали человека?

— Нет... Насколько мне известно, нет...

— Вы правы, что выражаетесь так осторожно. Подобные вещи могут происходить очень быстро...

Скомканная бумага и звуки слюноотделения, по счастью, свидетельствовали о переключении его внимания.

— Что вы хотите сказать, господин Стуковский?

— Бросьте этот обезумевший тон, Грюнд, мы просто беседуем, беседуем...

Когда в тот день я зашел с ним проститься, он еще не уснул. Он лениво приоткрыл веко, и его огромный глаз, это предзакатное солнце, потом преследовал меня до вечера и, погрузившись в глубины моих снов, глядел из них в треугольный монокль, точно всевидящее божественное око.

2

По какому-то причудливому стечению обстоятельств, до которых такая мастерица судьба, Елена Дж. Лосон выбрала именно этот момент, чтобы войти в мою жизнь. И, что примечательно, проникла она в нее из комнаты Стуковского. Застекленная полупрозрачная дверь, за которой волновались целые сонмы клиенток, однажды утром широко распахнулась. Голос хозяина был лучезарным:

— А теперь, Елена, я должен вам представить моего замечательного советника Леонарда Грюнда. Ну же, Грюнд, не робейте, идите познакомьтесь с моей компаньонкой. Она приехала из Луисвилла, Колорадо, со всеми манатками. Такое событие заслуживает того, чтобы его отпраздновать...

Неподвижно сидевшая в кресле для посетителей Елена Лосон смотрела на меня. Ее мягко изогнутая в запястье рука застыла в воздухе, точно у пианистки, готовящейся взять первую ноту незабываемого концерта. Она протянула

мне кончики своих пальцев, чуть колкие из-за острых ногтей. Длинное черное пальто симметричными складками ниспадало с ее плеч на кресло. Далее следовали две перекрещенные ноги, одетые в нейлон, затейливый узор которого вторил изгибу музейных фарфоровых ваз.

Была она, вероятно, несколькими годами старше меня, ее макияж был неброским, изумительный аромат ее духов в сочетании с темно-красным цветом губ преображал кабинет в погребок винодела: измельченные цветы и давленная малина.

В этих благоуханиях Стуковский чувствовал себя как рыба в воде. С радостным хрюканьем и ужимками жеманницы он протер чистым платком три высоких бокала и наполнил их золотистой пенистой трепещущей жидкостью.

Благодаря бокалу, застывший жест Елены Лосон обрел наконец смысл. Она повернулась ко мне:

— Скажите откровенно, сотрудничество с господином Стуковским, действительно, настолько интересно, как он это пытается представить?

— Раз он так говорит, мадам...

— Вы мне не ответили.

— Господин Стуковский очень любит ставить меня в тупик. В обеденные часы мы иногда практикуем игры в кошки мышки...

Толстяк что-то промурлыкал. Глаза Елены тускло блеснули, ее губы приоткрылись:

— Есть люди, практикующие все виды игр, — отозвалась она нежно. Думаю, она заметила, как я покраснел.

Это был наш первый обмен репликами, тотчас же перекрытый раскатистым смехом хозяина и его настояниями непременно закончить бутылку. Пузырьки шампанского вскоре разметали цветочные лепестки обоев, встряхнули играющих на рожках ангелов и вдохновили грубоватые солдатские шутки нашего хозяина. Вихрь возбуждения не коснулся только Елены Лосон, которая лишь закидывала ногу на ногу, да небрежно поигрывала в пальцах ножкой бокала, как скучающая принцесса ниткой недорогого жемчуга. Прощаясь со мной, она сложила губы сердечком и заверила, что находит меня «очаровательным».

Не знаю, была ли она искренна. До этого дня я считал, что не создан для такого рода женщин. Я не байкер и не тореадор. Настойчивый взгляд Елены Лосон еще некоторое время преследовал меня, как вопрос, который я никогда прежде себе не задавал.

Наша вторая встреча произошла на лестничной площадке дома, в котором находился офис Стуковского, в тот день, когда не работал лифт. Я был на уровне четвертого этажа, когда услышал, как скрипнула дверь.

— Господин... Грум, не будете ли вы так любезны оказать мне маленькую услугу?

Блистательная и неотразимая, в небесно-голубом пеньюаре, она стояла в дверном проеме. Это был ее красивый хриплый голос, с привкусом Колорадо.

— К вашим услугам, мадам...

Работа состояла в том, чтобы перенести зеркало, стоящее у входа и держать его, сколько это будет возможно, на месте для него предназначенном, чтобы проверить, подходит ли оно к интерьеру. Вещь была очень тяжелая, раму, украшенную золоченым искусственным мрамором, мне едва удавалось удерживать двумя распростертыми руками, прижимаясь виском к стеклу. Елена, выпрямившись, мягко командовала:

— Немного левее. Чуть выше. Вы не совсем прямо держите... Подождите...

Обреченный стоять в мучительно неудобной позе, на грани судороги, я целиком зависел от колебаний Елены Лосон. Одним глазом я мог видеть ее изображение, умноженное зеркалом напротив. Мне кажется, что именно тогда все и решилось. Елена меня подбадривала: «Левее, еще немного левее...», и я не знал, идет ли речь о зеркале или обо мне в зеркале. Она замирала, любуясь: «Минуточку, еще минуточку, вы великолепны...». И я задавался вопросом, говорит ли она обо мне или о себе, такой великолепной, такой незабываемой в самом центре рамы. Наконец

она воскликнула: «Стоп, отлично...». И я увидел себя, обессиленного, с напряженными мышцами, поддерживающего огромное сооружение ее красоты.

Слишком быстро тонут в глубинах памяти эти предостерегающие знаки. Растяпа-случай беспечно сорит ими, точно вещами из плохо закрытого чемодана. Первыми запомнившимися мне словами Стуковского были: «Человек, которого душит галстук-бабочка...». Но почему «душит»? Уже в тот день я бы должен был насторожиться.

— Пройдите в кухню, выпейте чаю в награду за ваши труды, — тихо произнесла Елена.

Чай был с жасмином. Ее черные глаза пристально смотрели на меня, особенно когда она подносила чашку к губам. Мало помалу я приходил в себя.

— Я опоздаю к господину Стуковскому, — сказал я.

— Нет, не волнуйтесь, — успокоила она меня. — Стуки не будет сердиться на вас за это опоздание. По правде сказать, для него почти не имеет значения, на месте вы или нет. Как вам объяснить... Стуки любит постоянно иметь возле себя кого-нибудь скромного и спокойного. Короче говоря, близкого по духу. Не потому, что ему недостаточно той тени, что он отбрасывает сам. Это что-то из области психоанализа. Чтобы дать вам полную картину, скажу, что

господин Стуковский — единственный выживший из пары близнецов, другой умер обескровленный, Стуки высосал все соки, вы его знаете: у него чудовищная оральность. Но с тех пор как случилось это несчастье, он все время чувствует себя немного одиноко, ему необходима компания альтер эго, конфидента, в некотором смысле — адвоката. А если такового нет в наличии, он придумывает его и обращается к нему с монологами, на самом деле не слишком нуждаясь в его физическом присутствии.

— Значит, проку от меня не слишком много...

— Как раз напротив. Вы поддерживаете его равновесие. Благодаря вам он лечит свое чувство вины и, может быть, свою булимию. Одно влечет за собой другое, это и просто, и сложно одновременно. У нас у всех есть некие призраки, которых мы вынуждены кормить. Нет, не обижайтесь, я только хотела вам сказать, что вы иногда можете заболеть или немного опоздать. Важно, чтобы вы были таким, какой вы есть, а я уверена, что вы такой и есть. Говоря о вас, он шепнул мне вчера на ухо: поистине редкая жемчужина.

Она произнесла последние слова нежным шепотом.

— Кажется, вы его хорошо знаете, — сказал я. — Вы принадлежите к его семье?

— И да, и нет, — неопределенно ответила она.

Мы были уже на пороге. Прежде чем со мной расстаться, она приблизилась почти вплотную, чтобы поправить мой галстук. Он изрядно пострадал во время манипуляций с зеркалом, она наклонилась над ним, как над птенчиком, которому расправляют крылья, чтобы проверить, не поранился ли тот. Это был волнующий момент, перенасыщенный ароматом духов. Затем она откинулась назад, как танцовщица танго, и протянула мне тыльную сторону ладони, чтобы я приложился к ней губами. Я едва устоял на ногах.

— Эти несколько минут, проведенных в вашем обществе, привели меня в доброе расположение духа, господин... Грюнд. До скорого.

Стуковский и правда не заметил моего опоздания. От его огромного силуэта, шевелящегося за стеклянной дверью, меня вдруг захлестнуло ужасом, в особенности от мысли о возможности делить с таким «братом» теплую тесноту материнской пещеры. Он открыл дверь своего кабинета ровно в полдень.

— Что вы думаете о Елене? — осведомился он после долгого молчания.

— Она леди, господин Стуковский.

— Леди, — повторил он как эхо.

Затем:

— Грюнд...

— Да...

— Как вы смотрите на то, чтоб сопровождать леди в незнакомом ей городе? Показать ей Сент-Патрик, Ред-Лайн и несколько барочных фасадов, тот род милых вещей, что рассеивают скуку дам и придают блеск их беседе...

— Раз вы меня об этом просите, господин Стуковский.

3

Я никогда не был образцом устойчивости. Моя масса слишком мала, и я испытываю на себе силу всех притяжений к бездне, разделяющей сердца, эти непостоянные планеты. Когда Елена, элегантная и царственная, подала мне руку, чтобы я сопроводил ее до Тайни Маркет, в водоворот Эйнджел-серкл, к неоновым огням Джинголи-драйв, я должен был призвать на помощь все свои силы, чтобы держаться прямо, как пилон, не клоня головы навстречу ее сводящему с ума аромату, ее волосам, щекочущим на ветру мою щеку и шепоту ее признаний:

— Вы идеальный провожатый, господин Грюнд. Рядом с вами женщина чувствует себя как амазонка в коляске мотоцикла. Мы проходим по городу, листая его, точно книгу. Если бы я родилась на два века раньше, я взяла бы вас в кучера... Нет, в наставники... Нет, в ординарцы...

Она прыснула со смеху.

— В супруги... конечно, в супруги, господин Грюнд. Вы так же восхитительно анахроничны, как эти фасады...

Мне впору было хвататься за леер, я спрашивал себя: хоть раз, где-нибудь, когда-нибудь, в Великий век*, предлагала ли себя женщина мужчине таким манером?

Над Йеллоу Нидл плыли запахи мазута и французских духов, смесь которых дразнила ноздри моей спутницы. В холле Сент-Джона она долго поправляла свою высокую, пепельного цвета, прическу. Ближе к полудню, когда по плитке тротуара Глостер-авеню заморосил дождик, она повела глазами, сразу сделавшись похожей на маленькую девочку:

— Дары моря, господин Грюнд. Я безумно хочу даров моря. Отвезите меня в морские кварталы. А там я поведу вас по запаху...

Я всегда испытывал чуть ли не анатомические трудности, поглощая эти заключенные в ракушки плевóчки, мне казалось, я глотаю собственную слизистую, пропитанную запахом морского рассола. Но сейчас экипажем правила Елена. Мы очутились за столом перед блюдом морских петушков, устриц и ракушек Сен-Жак, свечой на коралловом подсвечнике и удлиненной бу-

* Великий век — эпоха правления французского короля Людовика XIV. (Здесь и далее примеч. пер.)

тылкой «Донафугаты». «Не отказывайтесь от удовольствия, — прошелестела она, выпятив нижнюю губу, — океан угощает...». «Увы, я не большой ценитель его даров, — ответил я, — у меня на них давняя аллергия». Она пожала плечами и, забыв обо мне, погрузилась в наслаждение студенистой симфонией. Поскольку в паузах между ее вздохами удовольствия повисало молчание, я решил, что сейчас удобное время познакомиться поближе:

— Мне не дает покоя один вопрос...

— Что ж, прошу вас, господин Грюнд, не стесняйтесь...

— Стуковский ваш родственник?

Она опустила свои красивые глаза с длинными черными ресницами.

— Я его невестка.

У меня перехватило дыхание.

— А ваш муж остался в Луисвилле?

— Он пошел ко дну у берегов Пуэрто-Рико.

— Простите меня...

Воцарилось неловкое молчание. Отраженный в витрине аргентинец вынул из футляра аккордеон, и инструмент, точно прочищая горло, выдохнул протяжную волну заключенной в нем музыки. Елена с отсутствующим видом водила вилкой в блюде с петушками. Я подумал, что все это одновременно отдает ужасной трагедией и нелепой выдумкой.

Такой уж была эта женщина, она заставляла сомневаться во всем. Выражение «пошел ко дну» показалось мне к тому же несколько туманным. Если только она не была замужем за кораблем. Она сменила тему:

— Как насчет небольшого блюда морских ежей?

— Прекрасная мысль.

За стеклом толстый мужчина в белом фартуке точным ударом топорика разрубал пополам каштаны.

— Знаете, как отличить женских особей, господин Грюнд?

— Не имею представления.

— Дамы всегда пикантнее. С фиолетовым оттенком, красавицы... Их нужно собирать, когда восходит луна.

Я выскребал внутренность ракушки и пытался поймать языком маленькую клейкую звездочку.

— Вы знаете, что мы едим?

— Нет.

— Их половые органы.

Ее темные глаза пожирали меня. Аккордеонист, принявший нас за влюбленных, расположился напротив, наигрывая свой пресный романс.

— Откуда родом ваши предки, господин Грюнд?

— Из Вены.

— Я так и думала.

В возбуждении она крикнула музыканту:

— Мелодию из «Третьего мужчины», вы ее знаете?

Аргентинец загнулся. Нет, судя по всему, он такой не знал.

— Тогда венский вальс...

Он знал один вальс, но тот не был венским. Единственная известная ему венская вещь оказалась в ритме танго. Он все же решил попытаться и принялся играть ее в три четверти, пританцовывая на месте. Елена в такт его вдохновению мечтательно покачивала головой, а я думал о том, что между Анатолом Стуковским и мной должен был быть третий мужчина. Один, а, может, несколько, целая толпа самцов, красивых, мускулистых и необузданных. Я же навсегда останусь лишь кучером мадам...

— Обожаю, — воскликнула она, уже заметно опьянев. — Обожаю Вену. Обожаю этот дух Старого Света в вас. Вы позволите мне называть вас Леонард?

На выходе я почувствовал головокружение. И оно не проходило, потому что теперь она венский вальс желала танцевать, причем не где-нибудь, а в увешанном зеркалами салоне. «Нет, Леонард, не делайте такое лицо и не говорите мне, что нет возможности разыскать в городе место, где исполняют венский вальс!»

В конце концов мы нашли снэк-бар, хозяин которого согласился отодвинуть столы для дамы в черном, хотевшей танцевать венский вальс. Он поставил «Австрийских ласточек» под изумленными взглядами своих одинаково круглых и одинаково остолбеневших жены и дочери. Сидевший в баре старый пьяница сопровождал музыку похабщиной и ирландскими трелями. Елена извивалась в моих руках, точно пойманная в сети морская змея. Она наслаждалась каждым туром вальса, в то время как я с трудом поспевал за ней. Когда танец закончился, и я был вдобавок вознагражден большой рюмкой шнапса, над городом начинало смеркаться. Вывески, тусклые лампочки, фонари раскачивались, точно мачты в порту во время шторма. Прямой, как церковная колокольня, я держался за руку Елены. У нее было игривое настроение: «Что происходит, капитан, вы слишком много выпили?».

Я позволил себе вольность, ответив:

— Думаю, я тоже вот-вот пойду ко дну, мадам.

К счастью, она на меня не рассердилась. В радостном возбуждении мы возвращались домой спящими улицами, слабый свет сочился из вечерних окон, тонкий дождик наводил на асфальт муар. Прежде чем расстаться со мной под взглядами ржущих ко-

ней Суомп-стрит, она подняла на меня затуманенные глаза:

— Я не забуду этот день, Леонард. Вы были моим учителем музыки, моим наставником, я была совсем юной девушкой, которую вы вывозили на бал...

Мое сердце прыгало в груди.

Ее голос сделался серьезным и немного официальным:

— Я, в самом деле, очень рада, что Стюки выбрал вас своим компаньоном, рада, да, очень рада...

И она припала своими губами к моему, это был очень нежный поцелуй, ароматный и пьянящий, как спелый плод, к счастью, уже дар земли, а не моря, бархатистая смесь малины, черной смородины, черники и полевых трав.

Я падал в бездну.

Стуки — мой компаньон... Раз Елена так решила, значит, и мне предстояло с этим свыкнуться. Я должен был притерпеться к огромному силуэту за полупрозрачной дверью и убедить себя, что даже если я и провел девять месяцев в океанической пещере бок о бок с этим крупнокалиберным близнецом, он еще не самый худший товарищ в подобной переделке. К тому же, что, впрочем, является не таким уж редким феноменом человеческой природы, отсвет красоты Елены падал и на его толстую персону, временами сообщая этим задумчиво мигающим земноводным глазам какое-то неуловимое очарование. Кроме того, казалось, этот человек не имел ничего против наших зарождающихся отношений. У него был вид благодушного епископа, безмолвно благословляющего нас: «В добрый путь, прекрасная молодость», или мурлычущего кота, перпевающего на все лады во время наших полуденных бесед:

— Вчера Елена еще раз повторила мне, что вы были незабываемым кавалером...

— Спасибо, господин Стуковский.

Я ждал едкого замечания, но последовал только маленький штрих к анкете:

— Значит, вы танцевали...

— Вальс.

— И как она вальсирует, Елена?

— С редким изяществом.

Это уже был не осторожный, благоразумный ответ, это было мнение, которое, я надеялся, он ей передаст. Ситуация представляла в забавном перевернутом ракурсе: из своего укрытия я отправлял послания через моего босса, казалось, ничего против этого не имевшего. Глядя на него, после обеда сонно расплывшегося в кресле, окруженного пением ангелов и россыпью лепестков, я уже едва не подозревал его в простодушии.

Между тем мои отношения с Еленой становились похожими на ажурное шелковое кружево с цветочным рисунком. Так шествует любовь, пока она не становится плотной тканью. Позже, бывает, ажур возвращается, но тогда в этом обычно бывает виновна уже моль.

Просветы в кружеве — это, конечно, часы, проведенные без Елены, цветы — слишком короткие миги объятий под присмотром зеркал в ее инкрустированной гостиной. Иногда

мы танцевали вальс. Очень прямая и торжественная, с откинутой назад головой, она напевала «На прекрасном голубом Дунае», казалось, уносясь вдаль на крыльях воспоминаний. Иногда от моего поцелуя ее тело содрогалось, как если бы в ней обрывалась некая струна. Но она мгновенно брала себя в руки, и я так и не получал права на ее голую шею, ее распущенные волосы, на ее бедра под узким обтягивающим платьем из черного бархата. Если только кошка, скрывавшаяся в ней, не звала этими сдерживаемыми стонами того сокрушителя дверей, которым я не был...

Она оставляла мне надушенные записки, открытку с видом Фигаро-Хаус, несколько слов, набранных на моей печатной машинке:

Liebe Леонард, приглашаю Вас на бал, сегодня, в час дня, в моих апартаментах на Суомп-стрит.

Мой нежный друг, будьте нынче смелее в своих атаках, я хочу видеть кавалера уверенного и решительного.

Елена

Кроме нее и ее зеркал, вещей в салонах на Суомп-стрит было немного: фотография кошки, приколотая кнопками к стене, початая бутылка джина, огромный старый ежене-

дельник и два широких низких кресла. В них она роняла шаль, когда на ней бывала шаль, они же принимали в себя ее истому, ее изнеможение, когда она уставала кружиться. Тогда я занимал другое кресло, и мы беседовали перед зеркалами, ее голая рука была протянута к моей, это напоминало фигуру застывшего танца. Когда я говорил о себе, она неизменно ожидала рассказа о Вене, она любила вот так открывать и закрывать меня, точно венскую музыкальную шкатулку, которую танцор запускает движением крышки. Австрийская столица, посланником которой я был, источала для нее кроме сладостных вихрей штраусовских вальсов еще и тот неуловимый аромат старого города, что хранит потемневшая почтовая открытка. Отдельно от Вены моя жизнь мало интересовала Елену. Максимум, что она добавила бы к образу вѣнца, который я собой олицетворял, это одну маленькую биографическую подробность (мимолетное увлечение китайской астрологией). На этом мой портрет и завершился: вежливый, старомодный, мечтатель, созерцающий звезды, страстный поклонник Штрауса, и, уверяю вас, моя дорогая, очаровательный меланхолик...

На фоне лаконичной неизменности моего амплуа она была гением метаморфоз, она могла появиться то одетой в черное блондинкой,

то золотисто-каштановой или бурой шатенкой в одежде цвета марены, могла прогнать однажды вечером явившуюся роковую женщину, чтобы ее место заняла инженерю в белых коротких носочках, потом перевоплотиться в цыганку, пацанку, пуму, или мотоциклиста-полицейского. В конце концов я уже толком не знал, каков цвет ее глаз. Глаза — зеркало души. Всякий раз, когда я надеялся вот-вот разгадать эту душу, на ее месте уже появлялась другая, все время другая. Так же строился ее рассказ о себе. Часто ее охватывала тяга к неожиданным признаниям, и она целыми полотнищами разворачивала передо мной историю своей жизни, неизменно трагическую и прекрасную. Тон был отрешенным, атмосфера туманной, и, несмотря на мою заинтересованность, мне казалось, что чем больше она говорит о себе, тем меньше я ее знаю. Ее история к тому же пестрела нескончаемыми противоречиями, но она не любила, когда ее на них ловили: это, конечно, моя вина, должно быть, я просто что-то плохо расслышал.

Когда-то она была замужем за одним китайцем, импортером болгарских вин, и рассталась с ним после скандала на шикарном теплоходе в Гонконге, поводом послужило то, что она заказала утку по-пекински, тогда как он был вегетарианцем, вдобавок — курильщиком

опиума и мужланом. Потом она поднялась по реке Амур с высокопоставленным чиновником коммунистом, видевшим в ней новое воплощение Ли Сун Ли, что было одновременно и полнейшей чужью, и истинной правдой. Это был человек исключительной утонченности, но он относился к ней, как к алебастровой статуе, и не смел ее коснуться. Реку Амур сменила река Эско, а коммуниста — фламандский священник, который наставлял ее с помощью притчи о заблудшей овце, возмущался тем, что она не понимала ни единого слова его языка, и заканчивал свою проповедь на пыльной перине, тайком от своей служанки, на крестьянском и универсальном языке страсти, слишком долго не имевшей выхода. После этих лампадных огней был дрейф, шаланда, пароход до лимана реки Ориноко, и ее рука сжимала тогда руку некоего бразильца, немного подозрительного, но самого настоящего, его звали Педро, он владел казино в Белиз-сити и расставался со своим белым смокингом только чтобы заняться с ней любовью, неистово, с жуткими криками обезьяны-ревуна. Она бежала от него, ей помог тогда один английский археолог, человек прекрасный, но крайне неудачливый, позже найденный мумифицированным в месте его собственных раскопок в Сукуруджу. Именно в то благословенное время ей и довелось плакать на плече одного капитана дальнего

плавания, которого звали Джо Стуковский, он был великолепен, Леонард, какая голова, тело, остроумие, походка. Он имел только один недостаток: бесстрашие. Через три месяца после их знакомства, месяц спустя после свадьбы, его тело выбросило на берег пляжа в...

— Пуэрто-Рико.

— Нет, в Сан-Сальвадоре... Пуэрто-Рико было раньше, много раньше... Во времена Ли Сун Ли.

Овдовев во второй раз, она заперлась со своим горем и оптовиком кормов для скота в Луисвилле, штат Колорадо. От мужчины разило животным, вы не представляете себе, что это за пытка... Идите сюда, Леонардо, отважимся на последний тур вальса...

После этого заключительного тура мы спустились по Даунтаун и вдвоем приговорили жареного в коньяке омара. Был уже не сезон для даров моря, но океан их еще дарил. После своих признаний она испытывала приступы сильного голода, а насытившись, погружалась в мрачное молчание, ее глаза становились тогда странными, казалось, они пожирают меня. В такие минуты она любила озадачить меня каким-нибудь вселенским вопросом:

— Положа руку на сердце, Леонард, в чем, по-вашему, смысл жизни?

Но она не слушала моего невнятного ответа. Ее взгляд уже устремлялся к другим берегам. Часто она возвращалась в разговоре к китайцу, археологу или Педро, им всегда чего-нибудь не хватало. Если бы в китайце было чуть-чуть от Педро, а в оптовике из Луисвилла — побольше от археолога... Только в Джо сочеталось все, он был идеален, как чистейший сапфир, он был просто создан для счастья, жизнь такая несправедливая вещь...

И мы поднимали бокал за ее покойного мужа, а я думал о том, что, конечно же, стану лишь очередной главой в ее романе-реке. Высокообразованный венец, носивший галстуки-бабочки Старушки Европы, но так и не набравшийся мужества уложить ее в постель, чтобы узнать, что представляет собой эта женщина... Поиск продолжался, мужчины перелистывались, как страницы календаря, скоро и я займу свое место рядом с другими костюмированными экспонатами ее коллекции: китаец, венец, животное...

Однажды, когда она была очень пьяна, она сказала мне:

— Положа руку на сердце, Леонард, в вас не хватает совсем чуть-чуть, чтобы вы были как раз моим типом мужчины.

— Чуть-чуть чего, Елена?

— Я бы сказала, чуть-чуть от Педро.

— А что было у Педро?

— Огромные усы и парабеллум. Даже в постели Педро никогда не расставался со своим парабеллумом.

Она залпом осушила свой бокал, затем впилась в меня глазами:

— Я вас смущаю, Liebe, я чувствую, что смущаю вас... Не слушайте меня.

Иногда мы говорили о Стуки. Я пытался понять, что связывало этих двоих. Она говорила о нем то с нежностью, то с откровенным цинизмом. В одном и том же разговоре любящий благодетель мог превратиться в жирную свинью или в старую похотливую жабу. Я узнал, что она унаследовала долю Джо в компании его отца, и что одним из последствий этого был ее переезд и работа в фирме. Стуки оплачивал ее квартиру. В обмен она его вдохновляла, уж не знаю, каким образом. И именно благодаря ему мы могли совершать набеги на все шикарные рестораны побережья. Так что выражение «дары океана» приобретало теперь новый смысл. Океан назывался Анатолий Стуковский, для которого доллар означал доллар. Эта щедрость была столь же непостижимой, как страсть, которую, казалось, готова была подарить мне Елена. Но в то время я еще верил в мою звезду и не задавал себе лишних вопросов.

Я переходил из его рук в ее и обратно, как если бы тоже был членом семьи. Словом, я танцевал, искренне полагая, что танцую один танец, и не замечая другого. Другого вальса, похожего на то мимолетное уродливое отражение, что рождалось у наших ног на слишком начищенном паркете Суомп-стрит. Танцуешь, танцуешь, не видя толком, куда ведет танец, но продолжаешь, опьяненный. Не понимая еще, почему меняются декорации, почему небо в окнах становится вдруг фиолетовым, багрово-фиолетовым, ядовитым, почему друзья в твоих снах склоняются над тобой с непостижимым состраданием...

И вот приходит день, когда все делается очевидным, несомненным. В один день, в один миг нам вдруг становится понятным все произошедшее, но мы, конечно, продолжаем не понимать того, без чего само это произошедшее не могло бы состояться, всю ту медленную работу, имевшую целью пропитать нас нужной атмосферой, адаптировать к новой среде, оказать соответствующее влияние... В тот день вместо овального рта Анатоля Стуковского я увидел кроваво-красное пятно. Нечто чрезвычайное: он вызвал меня ровно в десять тридцать, в самый разгар приемных часов.

Начал он довольно торжественно:

— Мой дорогой Грюнд, вот уже год как мы знакомы, и я мог бы сказать, что с каждым днем я все больше ценю наше сотрудничество.

Долгая задумчивая затяжка сигарой, короткий выброс голубых колечек, затем самым обычным тоном:

— Так вот, я вчера разговаривал с Еленой. Она мне сказала: положи руку на сердце, Леонард мог бы подойти для этой работы. Дело несложное, много времени не займет, в области же деликатности ему нет равных...

— О какой работе идет речь, господин Стуковский?

Мужчина в задумчивости надул губы.

— Вы знаете, Грюнд, есть всякие люди на земле...

Он подождал моего согласия и продолжил:

— Некоторые говорят: миру нужны все. И я не так уж далек от того, чтобы согласиться с их мнением. Вы знаете меня, Грюнд, вы знаете, что я по характеру скорее гуманист.

Он заерзал на стуле. Слово должно было доставлять ему некоторый дискомфорт.

— Гуманист в допустимых пределах, разумеется. В разумных пределах, вы понимаете, к чему я веду, Грюнд...

— По правде сказать, нет, господин Стуковский.

— Ответьте честно, вы за эвтаназию?

— Я об этом как-то не думал, господин Стуковский.

— А я за. И заявляю об этом во всеуслышанье, и думаю, что вы тоже за, потому что знаю вас как человека здравого смысла.

Когда здравый смысл являет себя вот так, паря на ангельских крылышках в конце фразы, приятно упитанный, как те дебелие херувимы, что поддерживают барочные амвоны, есть от чего забеспокоиться. Настала моя очередь ерзать на стуле. Стуковский, должно быть, это заметил, поскольку решил зайти с другой стороны:

— Сменим тему, Грюнд. Перейдем к делу. К дельцу, небольшому поручению: эдакое рукоделие, как раз для вас.

— Простите?

— У меня для вас задание, Грюнд.

И театральным жестом он выложил на стол плоский пузырек, наполненный прозрачной жидкостью с радужным зеленоватым отливом. На флаконе красовалась надпись:

ЧИСТАЯ ВОДА

Свежесть

Здоровье

Жизненная сила

(объем 15 мл)

— Не слишком доверяйте этикетке, — мрачно процедил он сквозь зубы, — в наши дни уже не осталось ничего чистого.

— И что я должен с этим делать, господин Стуковский?

Тогда он наконец начал:

— На Хантон-сквер есть старый отель со странным названием «Райский чердак». Это название, по-видимому, восходит к очень давним временам, потому что теперь там можно встретить только недочеловеческую фауну, сборище ничтожных людишек, все потенциальные самоубийцы, которым благотворительная организация, будучи сама в жалком состоянии, упорно пытается помочь как-нибудь зацепиться в этом мире. В общем, искусственное поддержание жизни, однако не будем углубляться в эту тему. В отеле вы найдете пьянчужку по имени Аби-маэль Грин, запомните это имя, Грин, когда-то он, возможно, звался Карлсон или Джонбего, но он об этом не помнит, как не помнит ни цвета кожи детей, которых, должно быть, немало оставил после себя между Атлантой и Цинциннати, ни запаха земли в Окленде, где, судя по всему, однажды появился на свет. Единственное, о чем он помнит, это что в прошлый раз вы обещали ему выпивку, и он цепляется за это воспоминание, точно за горлышко бутылки, кото-